

Посвящается Сергею Козубенко

*Люблю твою, Россия, старину,
Твои огни, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды
Люблю навек, до вечного покоя...*

Николай Рубцов

Не ветшая в насмешку над мертводушным и душным, бетонно стылым жильем, могучие избы-вековухи мудро и покойно, с погостовой отрешённостью от жизни, красуются на ангарском яру, вросши в берег закаменевшими, листовенничными корнями, словно и не рубили их русские мужики, а избы взросли из земной тверди и заматерели, как возрастают и матереют кряжистые листовени, уплывающие в поднебесье, солноликие сосны.

Русская изба – дом, терем, хоромы, словно древняя славянская ладья, выплыла из тьмы веков, из эпохи скифов-земледельцев, и на Русском Севере да в Сибирской Руси обрела вершинное творческое воплощение. Русский мужик-древodelец, срубив дом-пятистенок из сосняка, что до звона выстоялся на корню, уложив в нижние венцы листовенничные кряжи, умудрив кружевной лепотой, гадал не о том лишь, что в трудах и молитвах ладно, угревно и чадородно заживут домочадцы в

избе, но и небесной блажью сладко томил сердце: продюжит изба два века, и добрым, молитвенным словом помянут внуки и правнуки его, строителя, хоромины, и легче, отраднее будет на небесах его крестьянской древодельной душе, грешной, но согретой родовой, братчинной и сестринской любовью во Христе.

Рубилась изба топором – отчего и сруб, поскольку в отличие от пилы, рвущей дерево на торцах, раскрывающей древесные поры, где копится сырость и гниль, топор заглаживает, утаивает поры, и венцы не страшатся сеногнойных дождей и грибной прели – два века простоят.

Крестьянская изба сроду не перечила лесам и степным увалам, рекам и озерам, но любовно прилаживаясь, сливаясь с окрестной природой, вершила ее красу и волю. Обряженная потаёнными резными карнизами, причелинами, «полотенцами», коньком на охлупене, в коих замерли навечно древние заклинательные знаки-обереги (кресты,

знаки солнца, земли, вод земных и небесных), — русская, славянская изба являла собой и образ Вселенной, образ Творения Божьего.

В красивой избе — полагали древодельцы — и жизнь роды сладится красивая, и чада нарожаются бравые, удалые, древодельные искусники, для чего, подражая окрестной природе, украшали избу затейливой пропильной и рельефной резьбой. Резные кружева радовали, тешили душу домочадцев щедро украшенной избы, а магическими знаками-оберегами по древнерусским поверьям еще и оберегали душу от нечистой силы. Канули в православную вечность языческие суеверия, но выжила краса, воспевшая мощь природы и человеческий образ — недаром изба и очеловечивалась: передняя часть — лик, окошки — очи, узоры над окнами — брови, резные «полотенца» по венцам — ланиты, фронтон — чело.

Зажиточные крестьяне и мещане, а уж тем паче томские, иркутские купцы — радетели городского и посадского благолепия — старались пышнее, искуснее украсить свои хоромы и, случалось, за «кружевное платье» платили древодельцам те же деньги, что и плотникам за возведение сруба. «Кружевной песнью» величал русскую домовую резьбу поэт Сергей Есенин: «Орнамент — это музыка <...> никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и разум, как наша древняя Русь».

Железобетонный нахрапистый век начал было хоронить избы, деревянные дома, терема и хоромы, и приступила скорбная пора, когда из душ новоявленных

мастеров повыветрилось чувство природной красоты, а из рук древодельцев вместе с топором уже выпадало бывшее мастерство. И уж потянулись к погосту обветшалые срубы — вещи избы, чудные дома, дивные терема и хоромы, украшенные потайной, бережной резьбой, но, слава Богу, зажиточный народец из бетона и кирпича поманило в деревянные дома, неразлучные с матерью-сырой землей, и стало возрождаться плотницкое ремесло, а с ним и русское древодельческое искусство домового орнамента, даря крепким избовладельцам утеху взору и оберег душе.

Подле русской сибирской избы явственно чуешь сухой, белесый, протяжный и распевный лад крестьянских будней: вот заголосил бывалый петух, ревниво подхватился молодой, задорный, и разбуженный певнями зоревый свет с виноватой поспешностью стирает с морщинистых венцов ночную хмурь, увеселяет сруб золотистым теплом; вот в стайке глухо взмыкнула корова, ей подтянула соседская, потом вдоль улицы поплыла рассветная песнь пастушеского рожка; а вот щекастая, розовая со сна, дородная молодуха опустила по лесенке из сеновала и, смущенно оправляя сарафан и выбирая из волос приставшие сухие былки, счастливо улыбается ночному, любит утренняя синевой, потом, схватив ведра и коромысло, раскачисто плывет к реке, над которой стелется молочный туман; а вот, напоивши коня, вздыхается с яра крутоплечий мужик, при виде молодухи замирает в седле, но не зарясь греховно на бабье обилие, но дивясь чадородной мощи, что сродни хлебородной

матушке-земле. И, осенив себя крестным знамением, воскликнет мужик: «Господи, Иисусе Христе, столь благолепны и обильны земля Твоя и людя Твоя... И жить бы нам в ладу и любви, и славить Тебя денно и ночью...»

Но нет, глухо и сонно в музейной деревне, как на погосте, и тишина сия на весь ее оставшийся, праздный век; деревня — загляденье, да лишь на погляденье, не на жительство.

* * *

И как было утешительно, отрадно, что на Святую Троицу «сибирская деревня», — музей деревянного зодчества «Тальцы», что на сорок седьмом километре Байкальского тракта, — ожила не крикливо-яркими, пугающими «деревню» и окольный березняк, гремящими куртками туристов и чужеземной речью, — нет, избы и подворья ожили вдруг словно взаправду, хотя и не буднично, а празднично.

Из утреннего тумана выплывает деревянная церковь, и зоревый свет падает на купола, и золоченые кресты сияют в синем поднебесье; звенят залиvisto колокола, славословя Святую Троицу. В теплом и ласковом свете церковная паперть; из храма ликующей, цветастой рекой плывет крестный ход; впереди батюшка с крестом и притч с иконами, поющие:

— Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас...

Вначале подворья замерли, благоговейно и осветленно вслушиваясь в молитвенное песнопение, — молебен и крестный ход, — безгласно вторя празднично-

му тропарю: «Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святого и теми уловлей, вселенную. Человеколюбче, слава Тебе». Крестный ход, обойдя деревню, стекает к Ангаре, чтобы освятить её светлые воды.

Но вот утих молебен, вознёсся к отцветающим июньским небесам, и выплыла, словно из славянской стари, наша разнаряженная красными лентами кумушка, берёза-берегиня, без коей Русь, святая и берестяная, Троицу не праздновала. А уж на краю «деревни» залилась гармошка, заиграла для зачина неторопко и распевно, пробуя голос, потом в залиvistые переборы вплелась старинная русская песня, которая — даже если с ходу и не разобрал слова — тревожит, берedit сердце предчувствием чего-то неведомого, но до дрожи родного, счастливого, словно после долгой и опасной разлуки увидел отчий дом, мать, отца, сестёр и братьев, по коим изболелось сердце. И вот уже по улице, осиянной нежарким утренним солнышком, под переборы, переливы гармошки прошли в русских платьях те, кто знал и помнил такую деревню вживе, любил её и в добром благе, и в горьком лихолетье, кто дотягивал свой век по сибирским деревушкам. Шли наши старые матери и бабушки...

Таинственны и причудливы славянские праздники, когда, радея в Радуницу, вопленицы от молитвы, плача и причети по усопшим, вдруг с небес опускались наземь и начинали воспевания земного плодородия и бабьего чадородия под буйные, как вешнее половодье, птичьи пляски, когда очистительно горюнилась, страдала и возно-

сила молитвы ко Христу, а потом живительно ликовала, веселилась русская душа, всякий раз вновь обреталась, крепла, чтобы вновь и вновь дивить мир неразгаданной силой и красотой, закрепшей в терпении, любви и мольбе.

В деревне Троица – и посреди чистого двора береза, украшенная бумажными цветами и лентами. На амбарном приступке сидят три парня, самый кучерявый играет на гармонии. Две деревенские девушки с венками на гладко зачёсанных волосах красуются возле берёзы, уряженной желтыми, синими, алыми цветами, помахивают берёзовыми ветками и поют семицко-троицкую песню. А народ — окрестные жители, — ино и хлопают в ладоши, похваливая доморощенных артистов. Девушки поют, обходя берёзу-наряжёну:

Во поле березонька стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Ах, люли, люли, стояла,
Ах, люли, люли, стояла.
Алыми цветами расцветала,
Ах, люли, люли, расцветала.
Некому березу заломати,
Некому кудряву защипати,
Люли, люли, защипати.

Девушки трижды обходят наряжёну; являются парни, и курчавый лихо играет на гармонии.

Пойду в лес, погуляю.
Белую березу заломаю,
Люли, люли, заломаю.
Я, млада девица, загуляла,
Белую березу заломала,
Люли, люли, заломала.
Выломлю я два пруточка,
Сделаю я два гудочка,
Ах, люли, люли, два гудочка.

И четвертную балалайку,
И четвертную балалайку,
Люли, люли, балалайку.

У первой девушки появляется в руках балалайка, на которой она играет и поёт на пару с подругой.

Стану балалаечку играти,
Милого дружка вспоминати,
Ах, люли, люли, вспоминати.

Вторая девушка поёт, подойдя к избранному парню, а в руках у неё расшитое полотенце, икона Святой Троицы.

Стану я мил друга будити,
Люли, люли, будити.
Встань, мой муж, разбудися,
Люли, люли, разбудися.
Светленькой водичкой умойся,
Люли, люли, умойся.

Парень изображает умывание.

Чистым полотенцем утрися,
Люли, люли, утрися.

Вторая девушка подаёт парню расшитое полотенце.

На тебе икону — помолися,
Люли, люли, помолися.

Вторая девушка подаёт парню икону, и парень крестится, читает короткую молитву. В это время один из трёх парней изображает старика — идёт к первой девушке, сгорбившись, постукивая березовым батожком. Первая девушка поёт, подбоченясь, насмешливо глядя на старика, а в девичьих руках банное мочало и деревянная лопата, коей вынимают жаркий хлеб из чела русской печи.

Стану старого мужа будити,
Ах, люли, люли, будити:

Встань, мой муж, разбудися,
Люли, люли, разбудися.
На тебе помои – умойся,
На тебе мочало – утрися.

Девушка, игриво улыбаясь, с
усмешливым поклонцем вручает
«старику» мочало.

На тебе лопату – помолился.

Девушка, мигнув подруге, сует
«старику» деревянную лопату.
Гармонист наяривает плясовую
музыку. «Старик» нежданно-негаданно
обращается в «молодого» и
начинает приплясывать. Пляшут
парни и девушки.

Во всех усадьбах «деревни» в
тот день звучали народные песни:
и протяжные сибирские, и
застольные, и подблюдные, и песни
посиделок, и свадебные, и хороводные,
и шуточные, и частушки-тараторки.
Но перво-наперво, в
лад празднику, семицко-троицкие
песни, воспевающие нашу любушку
— березу-берегиню.

Народные песни, собранные и
записанные даже на малую толику,
уже составляют горы книг — Россия
широка, необъятна, а у каждой
деревушки своя новинушка; но
беда, что невозможно учуять всем
сердцем русскую песню из книги,
её можно пережить лишь в живом
пении — многоголосом, влитом
в обрядовое действие, да и в родной,
деревенской среде. А посему
сибирская «деревня», хотя и
музейно ряженная, оказалась впро-
ру для исконных русских праздни-
ков и песенной старины. Не
случайно о благолепной избе, ладной
деревне говаривали: не изба, а
праздник, не деревня — песня. Эко
живо и красиво льется над ромаш-

ковым лугом, завивается среди
березовых грив, приступающих к
усадебам хороводная, берестяная
песнь.

На дощатых «чистых» дворах
завивали хоровод-солнцевод сара-
фанные бабоньки да девоньки, в
лад постукивая каблучками яловых
сапожек, пришаркивая сыро-
мятью мягких чирков, и с такой
редкой в злую годинушку земной
душевностью и природно-русской
отчаянной удалью пели старые
певни, что — как однажды в
родной деревне, когда тянули
старину две вековухи, — я вдруг
гордо и слезно вспомнил, что я
русский, что всё — могучие избы,
бревенчатые заплоты, поля среди
березняков, синё мерцающие неза-
будками, крест часовни, тающий
в голубоватом мареве, Ангара с
отраженными в ее глуби таежными
хребтами и белыми облаками,
деревенские певни посреди дворов,
многоголосые песни, птичьи
пляски — всё это моё родное, русское.

Их, старушек или баб в добрых
летах, на причеть, песню и «плясание,
плескание» гораздых, не хотелось
величать артистками — се чуждое,
малое для баб звание, потому что
пели певуньи под гармонь, под
балалайку, водили «карагоды»,
сыпали частушками себе в утеху;
пели то, что само собой знаемое
сызмала, выпевалось из души. И
от их пения, такого родного
избам и амбарам, кажется, сама
«деревня» вдруг очнулась от
колдовских чар, встрепенулась
всеми своими старыми венцами
и, счастливо обмирая, боясь даже
поверить до конца, затихла, она
знала, помнила всеми половицами
и матицами, помнила и любила

эти песни, потому что с ними проходила вся человечья жизнь в ее избах и дворах.

Да, пели не для славы, не для корысти, на свое увеселение, как издревле было. Помнится, даже мать моя, Царствие ей Небесное, услышит, бывало, как по радио запоют, заиграют плясовую, сразу же лукаво подмигнет нам, ребятишкам, дескать, ишь как пляшут да поют, весело гуляют... А когда прознала, что этим певням ещё и деньги платят, как за работушку, так и диву далась: «Ло-овко... напоятся, напляшутся до упада, да им же еще и денюжку подай... А раньше дак, наоборот, чтоб попеть да поплясать, ежели зима, так избу откупали. Яичек, сала понатащут, ребята дров хозяйке привезут, вот она и пустит на посиделки...»

Славный выплелся праздник в музейной «деревне», и всё же нет-нет да и, несмотря на удалое веселье, оживившее кладбищенскую тишь музейных дворов, ложилась на мою душу печаль: горько было смотреть и стыдно слушать, когда старушки, завивая «девичий карагод», воспевали:

Я млада девица загуляла,
Белую березу заломала...

И иной «младой девице» уже седьмой десяток, и, как у нас в деревне говаривали, перекрестившись: дескать, гроб за спиной волочится, в глинско старенька поглядывает либо в мохово. Всякому возрасту свои песни, а посему и были у молодежи свои, у стариков и старух свои, приличествующие летам, чаще божественные, покаянные.

Горе нашего великого народа, стыд и позор на головы молодых русских, когда наши свадебные,

хороводные, девичьи песни на зимние Святки, на Масленицу, на летние Святки поют древние старушки, тогда как эти обрядовые песни к лицу лишь молоденьким парням и девицам, которые, как я нередко примечал, или глазеют на доморощенных, обветшавших деревенских «артисток», как в звоннице, или подсмеиваются исподтишка, а то еще и зубоскалят: мол, русские народные, блатные, хороводные...

Было бы, наверно, еще скорбнее, еще больнее за певучую Русь, если бы старушки, как принято на Троицу, пошли носить по музейной «деревне» обряженную лентами, платками и цветами кумушку-березку, какую в досельное время носили лишь девицы на выданье, славные своей красотой и чистотой. И было бы смешно и даже грешно, если бы те же старушки наплели венков ромашковых и стали кидать их в Ангару, загадывая о мил-дружке и припевая:

Размолоденький молодчик молодой,
Моему-то сердцу друг-приятель дорогой,
Ты не стой, парень, не сучайся надо
мной,

Будет времечко, нагуляемся с тобой...

Случилось то на закате века прошлого, когда с дивлением и горечью взирал я на старушек, поющих и пляшущих в ряженной «деревне», а вскоре, словно учую мою скорбь, явились и запели, заиграли русское, по-русски молодые, ясно красивые ребята и девчата из хоров народных, и затеплилась робкая надежда: падши с мертвеющих губ, исконное песенное сло-

во не укроется в домовине подле покоенок, не укролит навечно к синим русским небесам, но оживет, зыграет на младых устах, и русские, Бог даст, не канут в злую Лету.

Россия как земная родина в сочинениях русских писателей прошлых веков сливалась с деревней, даже если сочинители и жили вдали от крестьянского мира, в холодных и суетных, порочно-чопорных столицах, даже если и сословно-то были далеки от сельского жителя. Думы о Родине – смекай, о русской деревне – с идиллическим любованием и святочным ликованием, с тихой печалью, сердечной скорбью и состраданием порождали величавые, сокровенные вирши, подобные «Родине» Михаила Лермонтова. Вот ведь не из крестьян, из столбовых дворян, порченных на французский лад, а душа-то русская сумела, пропела здравицу мужичьему подворью:

Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

Чует мое сердце, провидит
сквозь мегаполисный чад и смрад,
сквозь одичавшие сельские поля
и обредевшие леса – промыслом
Божиим, мужичьим отрадным и
надсадным трудом, бабьим вели-
котерпением оживет русское село
со златоглавыми церквами, пас-
хальными звонами, солноликими
избами, дородными амбарами,
хлебородными нивами, покосны-
ми займками, с земною и небесной
песней.